

Максим Горький

**С Всероссийской выставки**



# Максим Горький

## С Всероссийской выставки

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2148805](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2148805)*

### **Аннотация**

«Очень распространено среди сведущих людей убеждение, что нижегородская выставка не только больше, но и будет полнее, красивее московской...»

# Содержание

[1]	4
[2]	17
[3]	24
[4]	28
[5]	37
[6]	40
[7]	49
[8]	56
[9]	60

# Максим Горький

## С Всероссийской выставки

(*Впечатления, наблюдения,  
наброски, сцены и т. д.*)

### [1]

Министерство финансов возвело на выставке до 80 павильонов, частные лица и учреждения – до 125. В общем площадь, занимаемая выставкой, намного больше площади Всероссийской московской выставки<sup>1</sup>; патриоты-нижегородцы, бывшие в Чикаго, утверждают, что и чикагская выставка меньше «нашей»<sup>2</sup>. Так как проверить их слова довольно трудно, то они говорят это с большим апломбом.

Очень распространено среди сведущих людей убеждение, что нижегородская выставка не только больше, но и будет полнее, красивее московской.

Читатели «Одесских новостей» уже знакомы с планом выставки и, наверное, рассматривая его, уже заметили, что, по

---

<sup>1</sup> Происходила в Москве в 1882 году – *Ред.*

<sup>2</sup> Чикаго, США, 1893 год – *Ред.*

мере приближения к центру, здания сильно скучиваются и теснят друг друга. В природе эта скученность центра крайне резка, очень сильно бросается в глаза. Архитектура зданий от этого много проигрывает – один павильон, налезая на другой, как-то ступшёвывает его красоту и мешает сразу охватить взглядом весь ансамбль здания. Общее мнение – на Всероссийской выставке нет русской архитектуры. Всюду мавританские арки и купола, готические вышки, много нижегородского «рококо – знай наших» – какие-то фантастические кривулины, масса разнообразно изогнутых линий, в которых нет ни кокетливой игривости стиля весёлой маркизы, ни одной простой детали – «все с ужимкой», – ни признака красоты. Кое-где проглянет кусок Византии, кружево русского рисунка и исчезает, подавленное всем другим.

Всюду много торопливой фантазии – но цельных и стильных вещей нет, если не считать императорский павильон и мавританский отдел Средней Азии и Кавказа. «Торопились очень и не успели ничего сделать», – оправдываются строители. Жалоба «Нижегородского листка» на то, что выставке недостаёт общей идеи, которая объединяла бы все здания, и что она представляет собою базар, выстроенный на скорую руку, «скученное собрание построек разных стилей и эпох», – имеет очень серьёзные основания <sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> По-видимому, М. Горький имеет в виду свои фельетоны из цикла «Беглые заметки», напечатанные в «Нижегородском листке», 1896, номера 138, 143 и 145 – *Ред.*

На Всероссийской выставке следовало бы экспонировать и русскую архитектуру – или она этого не заслуживает? Общая неприбранность, повсюду разбросанные доски, ящики, тачки, груды песка и мусора ещё более запутывают впечатление и портят ансамбль. Несомненно, что когда всё это вычистят, уберут, разровняют дорожки и разобьют куртины и клумбы цветов, выставка много выиграет. Но и тогда она даст много материала для толков об общем понижении вкуса и об упадке в жизни красоты. Век меркантилизма и материализма даёт себя знать во всём, и выставка есть и будет очень яркою иллюстрацией его силы и влияния на дух человеческого творчества. Эти широкие и низкие павильоны, осевшие к земле, как-то придавленные к ней, без порыва кверху, без признака в них свободной и смелой фантазии, пытливости и гордости бодрого идеализма и веры человека в самого себя, – как бы характеризуют собой нашу будничную, застоявшуюся в тесных рамках обыденную жизнь, скупую и серую, без крупных интересов, без широких запросов, без оригинальности, но и без простоты, странную, пониженную и запутанную жизнь людей, утомлённых и растерявшихся в массе мелочей.

Не знаю, как устраивает свои выставки весёлый и нервный Париж и другие города Европы, но трудно предположить, чтобы там дело сопровождалось такой же путаницей, растерянностью и глухой, тёмной борьбой заправил и главных двигателей дела, чтобы оно осложнялось такими же ненуж-

ными деталями, как и у нас. Хотя, конечно, люди – везде люди, но в более культурных странах и самолюбие должно быть более культурным. Как известно, сначала генеральным комиссаром выставки был назначен Кази, ныне он заведует отделом фабрично-заводским и машиностроительным, а генеральный комиссар – В. И. Тимирязев. Господин начальник губернии тоже принимает непосредственное участие в устройстве выставки. Вице-председатель комиссии по устройству очень часто бывает на выставке и обыкновенно после его посещений многое тасуется на новый лад. Дело крупное, грандиозное дело, и – как я уже говорил – в такой громадной и ещё не устроенной машине трудно требовать от всех частей её солидарной и гармоничной работы. Чувствую, что сравнение с машиной неудачно: там движется холодная сталь и другие металлы, здесь – нервы, горячая кровь и пылкие чувства и остро отточенное, в погоне за карьерами, чуткое самолюбие.

Между заведующими отделами нередки легонькие столкновения, а так как паны дерутся, то обыкновенно у хлопцев чубы трясутся, за всё расплачивается и со всем считается экспонент или его доверенное лицо. Ах, он очень много портит себе крови! С момента, как он приближается ко входу на выставку, для него начинается неисчислимый ряд мытарств и разных «неприятностей». Нужно выправить в комиссариате билет на право входа на территорию выставки, для сего

требуется ряд доверенностей, свидетельств и официальных удостоверений. Затем нужно найти свой отдел, а для сего предпринять длинное путешествие по дорожкам, на которых нога глубоко вязнет в кучах мусора и в грязи. Грязи много, ибо почти каждый день идёт дождь, а помимо этого не надо забывать о почве выставки.

Найдя отдел, следует отыскать заведующего им. Дело нелёгкое. Но вот и оно благополучно закончено.

– Честь имею представиться – доверенный фирмы...

– Очень хорошо...

– Место моей фирмы...

– Идите, там вам укажут.

Указали. Втаскивается витрина, вот она установлена, ящики с экспонатами распакованы, дело кипит, рабочие изнывают от утомления, экспонент их понукает и, похаживая около, с весёлым духом, напевает или насвистывает любимые ариетты. Является «лицо».

– Э-это чья витрина?

Отвечают.

– Эт-то не ваше место...

– ?..

– Ваше место в той галерее... Перенесите туда витрину, сейчас же...

Переносят. Смотрят – там тоже кто-то устраивается.

– Позвольте! Это не ваше место, а наше!

– Нет-с, извините! Наше, а не ваше!

– Но позвольте...

– Нет, подождите – мне указал сам N.

– А мне – сам X!

Недоумение. Идут за точными справками – один к N, другой – к X.

Был – в мануфактурном отделе – случай, что и N и X оба ошиблись. Это повело к тому, что две уже почти совсем отделанные витрины должны были разбираться и переноситься одна на другое место, другая уже на третье. Экспоненты скорбят, экспонаты мнутся, витрины царапаются и обламываются.

Но, к счастью человека, всё на земле конечно.

Витрина устроена. Эффектно. Экспонент улыбается, поглядывая на соседей.

– А нуте, каково?

Это он преждевременно ехидничает, и тут же где-нибудь из-за угла его витрины на него вылезает кара за ехидство в лице человека в разлетайке и широкой мятой шляпе.

«Художник!» – вздрагивает экспонент от неприятного предчувствия.

«Художник», – их на выставке целый полк, в составе «по военному положению», – останавливается перед витриной и, с видом знатока, щурит глаза. Потом кусает бородку, если она у него есть, или просто жуёт свою губу. Потом скептически улыбается. Потом зовёт к себе ещё «художника». Диалог:

– Видишь?

– Хм... да... – Печальное покачивание головой.

– Полное безвкусице... – Сокрушённый вздох артиста и тонкого ценителя красоты, оскорблённого в своих чувствах. Оба поперебой вонзают в смятённую душу экспонента по нескольку тёмных слов.

«Нюансов нет». «Складки мертвы». «Этот шёлк нужно бы бросить бликами». «Краски спутаны». «Густо брошены шелка».

– Полное отсутствие вкуса! – дружно заключают «художники» и следуют далее смущать покой экспонентских душ.

А раскритикованный экспонент остаётся и пристально смотрит на создание своих рук. «Тёмные слова» действуют на него – и то, чем он был доволен полчаса тому назад, уже много теряет в его глазах.

«А ведь, пожалуй, надо перетовб...» – мелькает у него мыслишка, и, глядишь, начинается это «перетово». Материи располагают в ином порядке, в иных сочетаниях цветов, и часто из простой, но действительно красивой витрины получается кричащая лавочка с неестественно пёстрой физиономией...

Много вещей ломается и портится. Вчера, например, пришли экспонаты кяхтинских чаеоторговцев, и при раскупорке ящиков масса чудных японских и китайских ваз оказалась разбитыми вдребезги. Это – результат дальности пути и плохой укупорки. Но много быют и ломают при переноске и установке на место. Жестоко быют.

У павильонов с колоколами фирм Финляндского, Оловянишникова и других на куче песка расположилась группа землекопов и «обедает». В большой деревянной баклаге квас, по рукам рабочих ходит железный ковш, едят зелёный лук с большими краяхами чёрного хлеба, густо посыпанного солью, и запивают квасом.

У каждого в руке – большой пучок лука, скулы двигаются, как на шарнирах, чавканье и скрип перекусываемой зубами травы.

Около этой группы останавливается Альфонс Картье, журналист от «La France», и Казимир Топорский от «Paris». Картье – южанин, откуда-то из Прованса, худой, бронзовый, нервный, с быстрой речью и с острыми, умными глазами. Врёт – как Тартарен. Движениями напоминает почему-то об «американском чёрте в банке».

Он долго и внимательно рассматривает физиономии рабочих, указывает своему спутнику на пучки лука и, – очевидно, предполагая, что он говорит по-русски, – спрашивает:

– Труава?

Ему объясняют: лук.

– Ah!

– Vin? <sup>4</sup> – Жест по направлению к баклаге кваса.

Топорский говорит: квас.

– Кивуас? – Он быстро наклоняется к рабочему, в руках

---

<sup>4</sup> Вино? – *Ред.*

которого в это время ковш с квасом, и что-то говорит ему, любезно улыбаясь.

Тот – понял! Утвердительно кивает головой, выплёскивает из ковша остатки кваса на землю, наливает свежего из баклаги и даёт Картье. Рабочие перестают чавкать и, с любопытством глядя на француза, ждут, как он будет пить русский квас. Ряд чумазых, бородатых славянских рож, и перед ними на корточках сухой бронзовый провансалец с жестяным ковшом в руке.

Он сначала нюхает бурую жидкость, и его хрящеватый нос с тонкими, нервными ноздрями вздрагивает и морщится. Это замечено, – бородатые фигуры землекопов ухмыляются, толкая друг друга.

Картье решается. Он делает глоток-другой.

– Sapersot! <sup>5</sup> – На его подвижном лице отражается дьявольски кислая гримаса, он отрицательно мотает головой, его передёргивает.

– Merci <sup>6</sup>, – задыхаясь, говорит он и суёт ковш в протянутую к нему заскорузлую руку смеющегося и, очевидно, сострадающего французу гиганта рабочего. Гримасы на лице Картье сменяют одна другую – всё лицо вздёргивается. На нём и жалость, и отвращение, и недоумение, и любопытство...

---

<sup>5</sup> Чёрт возьми! – *Ред.*

<sup>6</sup> Благодарю. – *Ред.*

– Diable! <sup>7</sup> – вполголоса произносит он, смешно пятясь от группы мужиков и оглядывая их широко раскрытыми, недоумевающими глазами. Мужички, стараясь сохранить серьёзность, снова начинают со скрипом жевать лук.

– И это их питание, при такой работе? – осведомляется Картье у своего спутника. Тот утвердительно кивает головой, и, в то время как «братья-писатели», прыгая через доски, удаляются, рабочие хохочут...

– Не терпит ихнее брюхо христьянского питья!

– Кисло ему!

– Чай, поди, шелушиться кожа-то будет!

– Французу русский квас – всё равно, как бы модной бабыне да кирасин!

– Сказал! Вывез слово!

Оживление растёт.

– Оно действительно, – солидно и задумчиво говорит старый, седобородый и кряжеватый землекоп, заглядывая в баклагу с квасом большими, печальными глазами, – квасок-от у нас и тёпел и кисел, да и припахивает чём-то. Нефтой буд-то. А не попало ли как нефты в баклагу?

– Да уж ладно, ведь весь выпили! – замечает кто-то.

На этом и заканчивается франко-русский инцидент с квасом.

В художественном отделе на днях тоже разыгрался боль-

---

<sup>7</sup> Чёрт! – *Ред.*

шой художественный инцидент. Потерпевшим является профессор Врубель и сам отдел. Профессор выставил два громадные панно. Одно из них представляло «Микулу Селяниновича», другое – «Принцессу Грёзу». Из грациозной, меланхолической и проникнутой глубокой мыслью пьесы Ростана профессор Врубель воспроизвёл заключительный акт – сцену посещения принцессой Триполийской умирающего трубадура Жофруа. Картина изображала палубу галеры, группу пиратов, свиту принцессы и на этом фоне Мелисанду, склонившуюся над ложем человека, так страстно любившего Грёзу и умирающего за неё. Я не видал картины и не могу, да и не сумел бы судить о достоинствах её исполнения, но каково бы оно ни было – профессор Врубель имеет право выставить свою работу, как имеет это право каждый из экспонентов выставки. Достоинство труда определяет публика, окончательное veto высказывает выставочное жюри. Раз данная вещь представлена на выставку – какова бы она ни была, покажите её публике. С панно Врубеля произошло что-то странное – его публике не хотели показать, явилось жюри от академии художеств, посмотрело на панно Карелина и Врубеля и распорядилось убрать их. Оба художника совершенно не рассчитывали иметь дело с академическим жюри, и, само собою разумеется, это распоряжение их и изумило и обидело. Возбуждается вопрос – какое дело академии до работ лиц, к ней не причастных и являющихся на выставку в роли экспонентов? Чем объясняется этот странный и совер-

шенно произвольный поступок?

Картина Врубеля возбудила у лиц, видевших её в отделе, массу самых разноречивых и горячих споров. Одни говорят – это декадентство, другие – это шедевр! Третьи, не впадая в столь противоположные крайности и, к слову, более понимающие искусство, очень определённо говорят: «Картина Врубеля слишком смела и далека от академических шаблонов, талант артиста несомненен, сюжет он понял глубоко, но позволил себе слишком увлечься импрессионизмом, и эта техническая сторона дела сильно ступшевала мысль картины, затруднила понимание её идей». Я – ни за одно из этих суждений, я за право человека показать публике то, что он сделал. Пусть на выставке публика получит возможность видеть все течения искусства, ведь выставка для того именно и устроена, чтобы знакомить нацию с результатами её труда за известный промежуток времени, а никак не для того, чтобы академики сводили на ней свои старые счёты с передвижниками.

В результате всей этой путаницы и совершенно неожиданного появления строгого академического жюри – панно Врубеля сняли, и одна часть отдела ныне совершенно оголена. Предполагается чем-либо задрапировать её. Панно Карелина осталось... Врубель, к его счастью, не потерпел убытка от его изгнания с выставки; его «Грёза» и «Микула» в эскизах куплены уже каким-то священником, и, как говорят, за довольно солидную сумму.

Отдел скоро будет закончен; картины прибыли все и поспешно развешиваются. О внешнем виде отдела – до следующего письма.

## [2]

*30 мая*

Теперь, когда выставка, в большей своей половине, уже приняла благоустроенный вид, физиономия и содержание её остальной части намечены и общая её картина достаточно ясна для выводов о её значении и о том, насколько она отвечает своей главной задаче – представить стране возможно полное собрание продуктов её труда, возможно яркое изображение хода её промышленной жизни, – выводы уже начинают раздваиваться.

Поспешно, конечно, но характерно, потому что большинство их пропитано скептицизмом и свирепой критикой, а где много критики – там много мысли, и где много мысли – там есть жизнь. Привычка, – следует добавить – дурная, – привычка русского человека ругать себя на все корки уже называется.

Вчера мне пришлось прокатиться по Оке на лодке с одним из «устроителей» выставки, кстати сказать, принимавшем деятельное участие и в устройстве московской Всероссийской выставки. Мы выплыли на середину реки, и, когда пред нами встала эта громадная колония, вся залитая электрическим светом, фантастичная, в звуках музыки, разносящейся по воздуху из окружающих её гостиниц, – я спросил моего спутника, задумчиво смотревшего на эту фантазмаго-

рию зданий, издали красивых, как изящные игрушки:

– Любуется на дело рук своих?

– Думаю на тему о человеческих намерениях и об их исполнении, – ответил он и, ещё после нескольких вопросов с моей стороны, разлился нижеследующей скорбной речью:

– Я устраивал вот уже две выставки и нахожу, что обе они неудачны, по существу своему неудачны. Мы выставляем продукты труда нации, но где же приёмы производства продуктов? Какое образовательное значение для публики и самих экспонентов имеет продукт, раз не показано, из чего и как он возникает? Я вижу – в витрине висит ткань, лежит железный лист, стоит вещь из стекла... Откуда и как они получились, какими приёмами, машинами, из каких соединений получились эти вещи в их данной форме? Покажите формы производства, все условия его в их полном объеме, тогда это будет иметь развивающее значение как для публики, так и для самой промышленности. Тогда будет возможно сравнение и улучшение как прямой результат его.

– Кусок ткани я могу видеть в любом магазине, это ничего не говорит моему уму. Важно не то только, что сделано, важно, как оно сделано. Вон в кустарном отделе стоит пианино кустаря-вятича Коркина, он работал над ним пять лет, не имея необходимых инструментов, работая чуть ли не зубами и ногтями. Быть может, и всё другое создается таким же нелепым и непродуктивным способом, почему я знаю? Мы хотели устроить выставку национального труда, – войдите в

главный отдел, и вы увидите универсальный магазин в его идеале. Там есть всё, – не видно одного – кем, как и из чего всё это делается. И опять-таки – в том же кустарном отделе дан образец того, как надо поучать, выставя труд. Там есть изба семёновского ложкаря, на завалинке которой представлено постепенное возникновение ложки из куска дерева. Вы видите, как дерево кислят, долбят, обтачивают, вырезают, дают ему форму ложки, даже как эту ложку укладывают в короб для отправки на базар...

– Дайте и всё другое в такой же форме, дайте хоть олеографии постепенного возникновения из безобразного сырья готового к употреблению продукта. Разве я – если я хочу понять труд нации – смогу понять его по образцам труда? Научают не продукты труда, а приёмы его, только они могут дать представление о культуре страны.

– Это одна сторона дела. Другая – неподготовленность экспонентов к их роли показателей уровня культуры страны. Они именно усвоили себе взгляд на выставку единственно как на рекламу их фирмам, как на громадную ярмарку, только как на соревнование друг с другом. Это не соревнование однако – это скорее экзамен промышленным способностям страны, и, как таковой, он должен быть и проще и яснее. Он не требует шика и эффекта – зачем бросать по 30 тысяч за витрину для выставки товара, когда дело не в витрине, а в самом товаре? Лучше употребить эти 30 тысяч для показа приёмов труда и производства товара.

– Значение выставки как национального дела не понято экспонентами. Отсюда эти громоздкие эффекты, это стремление затушевать соседа роскошью своей витрины, эта кричащая пестрота и безвкусица расположения экспонатов.

– Всё то, что тут привезено, я могу увидеть ещё в большем количестве в торговых помещениях фирм. Есть, конечно, много нового. Но ведь оно сделано не специально для выставки, а потому, что пришло его время явиться в свет. Как оно явилось – я не знаю. Непонимание крупного государственного значения выставки экспонентами выразилось и в их отказах от участия в ней, и в их ленивом, неуклюжем движении на неё, в запоздании, в силу которого много товаров осталось неразобранными, в заявлениях о желании принять участие на выставке, когда на ней уже не было мест. И во многом другом выразилась русская неприспособленность к крупным предприятиям. Это очень грустно...

– Везде так бывает? Нация молода? Не знаю, бывает ли так везде, если бывает, это скверно и не оправдывает нас. А указания на юность нации заставляют меня требовать от неё больше энергии и менее разгильдяйства, больше жизнедеятельности и менее скаредничества, жадности к наживе, которая сквозит во всём этом рекламном шике витрин наших производителей. Ведь все, что они затратили на своё участие в выставке, они непременно возместят из кармана потребителя, непременно возместят, набросив тут же, на ярмарке, лишнюю копейку на аршин ситца, лишний пятак на пуд же-

леза.

– Ведь вещи выставляют Савва Морозов и Асаф Баранов, Циндель и Гюбнер, а не их ткачи, и всеми барышами от выставки воспользуются эти господа, а не их ткачи... Труд народа – действительный труд 112 миллионов сельского сословия – собран в маленьком павильоне кустарного отдела. Всё это предметы примитивного обихода – ложки, чашки, лапти, телеги, рогожи. Видно некоторое старание земств развить и расширить кустарные промыслы, – московское земство выставило роскошную мебель, изящные игрушки, вятское – статуэтки из гипса, тоже мебель. Это производит странное впечатление: пахарь, человек всецело поглощённый «властью земли», в свободное от страды время мастерит для города игрушку, вместо того чтобы шить самому себе сапоги, делает изящное кресло, вместо того чтобы согнуть коромысло для своей жены...

– Но не в этом дело, а опять-таки в том, поскольку выставка народна хотя бы вот в кустарном отделе. Оказывается, что нижегородское земство из ста кустарных промыслов губернии экспонирует только сорок пять – больше не поспело собрать. Вятское, нижегородское и московское земство – ясно видны, а остальные засунуты куда-то в углы, мизерны, не видны. Неужели кустарные промыслы развиты у нас только в трёх губерниях?

– Я не националист, не апологист русской самобытности, но, когда я прохожу по машинному отделу, мне становится

грустно. Русские фамилии отсутствуют в нём почти совсем – всё немецкие, польские фамилии. Но однако какой-то, кажется, Людвиг Цоп вырабатывает железо «по системе инженера Артемьева»... Это производит колющее впечатление. Говорят, что почва промышленной деятельности всего скорей сроднит человечество. Это бы хорошо, конечно, но пока мне всё-таки хочется видеть инженера Артемьева самостоятельно проводящим в жизнь свою систему обработки продукта. Вспоминается судьба Яблочкова и разные рассказы о русской непредприимчивости, об отсутствии у русского человека самооценки, о его неумении видеть далее своего носа...<sup>8</sup>

Это – взгляд на дело лица, непосредственно заинтересованного в деле, – взгляд, недостаточно объективный, но всё-таки имеющий под собой почву, ибо в таком крупном деле, как выставка, и промахи крупны. В этом смысле говорят многие, но гораздо больше отзывов прямо противоположного характера.

Такие отзывы с успехом и замечательной колоритностью группирует «Волгарь» на своих страницах. В его изображении выставка грандиозно хороша и внешне и внутренне, всё удачно, всё возбуждает только удивление и патристическую радость. «Пересолы», допускаемые «Волгарём» и

---

<sup>8</sup> Яблочков Павел Николаевич (1847–1894) – крупнейший русский ученый и изобретатель в области электротехники. Его ценнейшие изобретения долгое время не находили практического применения в России из-за пренебрежения господствующих классов и цпрской власти к достижениям русской науки. – *Ред.*

«Нижегородской почтой» в похвалах выставке, изумительны. Это весьма патриотично, но едва ли полезно кому и чему-нибудь. Лучшее, что может сделать обозреватель выставки, – это изображать её возможно более детально и вполне беспристрастно с чисто внешней стороны, показывая, что на ней есть и как оно представлено, чего на ней нет и почему нет. Я именно так и постараюсь сделать.

## [3]

*6 июня*

Вчера, для первого дебюта, труппа Московского Малого театра дала «Бешеные деньги» в ярмарочном театре. Спектакль имел громадный успех, вызовом не было конца, возбуждение публики поражало своей силой, хотя публика была – в большинстве своём – очень интеллигентна. Её дала преимущественно выставка – был почти весь административный персонал выставки во главе с С. Ю. Витте, начальником губернии и генеральным комиссаром, представители прессы, художники и инженеры, инженеры, очень много инженеров!

Почти весь партер был заполнен людьми «с именем». Всё-таки театр был намного не полон, ибо это такой громадный сарайще, наполнить который нелегко.

Играли действительно хорошо. Госпожа Лешковская (Лидия), Южин (Телятев), Рыбаков (Васильков) каждой деталью, каждой нотой своей речи и каждым жестом давали понять публике, что она имеет дело с истинными художниками сцены, с людьми дисциплинированного чувства и чуткого к требованиям истинного искусства ума. Ансамбль замечательный, и сразу видно, что труппа, начавшая репетировать ярмарочные спектакли ещё с декабря месяца, не потеряла времени даром и действительно сыгралась на славу. Карти-

на жизни, которую вчера тщательно, тонко и горячо нарисовала труппа публике, обеспечивает за московскими артистами солидный успех, и, несомненно, именно они явятся на Всероссийской выставке самыми лучшими и самыми художественными экспонентами.

Ярмарка всё ещё пуста: из тысячи торговых помещений открыто на всей её территории 23. Вы выходите из театра, где пред вами три часа билась жизнь, вы подавлены драмой, в которой художники-артисты заставили вас принять активное участие и пережить вашим умом и сердцем каждый её миг, вы оглушены громовой овацией публики, и вдруг – вы вступаете в странный, мёртво молчащий город... Ряды зданий, облитые фантастическим мутноватым светом электричества, смотрят на вас мёртвым блеском окон... По углам улиц – молчаливые, неподвижные, закутанные фигуры – безжизненные сторожа мёртвого города. Широкая, чёрная полоса воды бетанкуровского канала отражает в себе голубовато-серебряные полосы света фонарей. По мостовым, густо усыпанным песком, бесшумно мчатся коляски, как бы стремясь скорее вырваться из этого жуткого молчания и из мёртвых улиц, залитых светом, в котором нет огня жизни. Над вами небо в пологе тяжёлых туч, они плывут так низко, и, кажется, всё ниже опускаясь, они хотят упасть на этот город...

Но – поворот, и вдруг вдали пред вами встаёт гора в огнях, точно её усеяли сброшенные с неба звёзды. Чем ближе вы к ней – тем богаче её огни, там они сгущились, здесь тянутся

ровной лентой, тут образуют собой кусок какого-то красивого рисунка. А далее голубые шары электрических фонарей, и чем ближе вы к городу, тем их больше... Встаёт выставка, тоже вся в этом мутно-голубом освещении, вся ажурная и сверкающая стёклами. Колёса загремели по камню. Вы в городе.

До слуха вашего доносится гул кафе-кабаков. Количество их с каждым днём возрастает вместе с расширением их увеселительных программ. В городе, на высокой горе, против моста через Оку, выстроен фон Гартманом ряд лёгких деревянных построек. Это «Восточный базар», – тут ресторан с концертной программой, дачи для семейств и одиноких. Этот же фон Гартман выстроил «Пловучую гостиницу», которая стоит в затоне Оки против города и ярмарочного главного дома. Это довольно оригинальная вещь. Представьте себе баржу в сорок пять сажен длины и девять ширины. На ней выведено три этажа, разделённые вдоль одним и поперёк – тремя коридорами. Затем всё остальное разбито на четырёхугольные клетки разных величин и удобств. Цена им от 2 рублей. И, конечно, ресторан, и, конечно, «программа». Программа главным образом состоит из разных интернациональных дам, непременно с канканом. Канкан не только танцуют, его и поют, его молчат и делают глазами. Не хватает француженок, которых с успехом заменяют немки, венки и добродетельные девицы из Берлина, прибывшие сюда делать себе приданое для выхода замуж в фатерланде.

Гром музыки окружает выставку... Александров-Ломач ломит напролом, пробираясь в недра карманов своих гостей. Панорама Рубо – бездействует. Завтра открывается театр Малкиеля рядом с выставкой, в нём будут давать феерии и оперетки. Его труппа – Михайлов-Стож, Лодии, Пастунов, Форесто, Пальм, Бураковский, Муратова, Дарьяли, Кронберг, Бауэр, де Лорм. Капельмейстер – Паули. *Prima ballerina assoluta*<sup>9</sup> – Рославлева, из московских императорских театров. Тут же Г. В. Тартаков, а что он будет делать? Пока неизвестно. Малкиеля ждут с нетерпением, ибо инженер не существует без оперетки. Опера в городском новом театре пользуется успехом. Сегодня дают «Фауста»; на ярмарке – «Таланты и поклонники». Скоро откроется цирк Никитина. «Стрельна», «Повар», «Эрмитаж», «Интернациональ» и другие заведения – имя же им легион – предлагают посмотреть гармониста Невского, Бен-Али-Бея, «Весёлых ласточек», квинтеты, квартеты, дуэты и проч.

---

<sup>9</sup> Прима-балерина (итал.). – *Ред.*

9 июня

В частном собрании представителей выставочной администрации, – в котором, между прочим, принимали участие В. И. Ковалевский, В. И. Тимирязев, Н. М. Баранов и другие лица, признано желательным, в видах увеличения интереса к выставке и привлечения на неё иногородних и иностранных гостей, устроить ряд посёлков этнографического характера, по примеру парижской выставки в 1889 году.

Все народности России – предполагается – будут представлены в рамках их быта с возможно более строгим соблюдением всех деталей обычаев, утвари и т. д.

Намечено собранием: устроить малорусскую хату со всеми к ней хозяйственными пристройками, с волами и всем домашним скарбом, кочёвку бессарабских цыган, лопарскую вежу, великорусскую избу из Пскова или с верхней Волги – местностей, где ещё уцелели точные стильные избы, финляндскую деревню, юрты кочевников Тургайской области, избы татар из Касимова, Казани и других мест, инородцев Востока и сакли горцев Кавказа.

Сеть таких посёлков предположено разбросать по всей территории выставки, около каждого разбить площадку, на которой будут демонстрироваться различные обряды, игры, пляски.

Спешу оговориться: это проект. Осуществится ли он – трудно сказать, но толковали обо всём этом очень горячо и обещали вложить в осуществление проекта всю энергию. Он заслуживает этого; придать выставке этнографический характер – дело хорошее. Говорили, что на устройство всей этой широкой бытовой картины потребуется не более трёх недель и затраты не превысят 50 тысяч рублей. Тем более оснований отнестись к делу серьёзнее и решить его в утвердительном смысле. Завтра, по всей вероятности, это начинание обрисуетя ярче.

Приехал бывший военный министр, маститый Д. А. Милютин. Сегодня на выставке, в концертном зале, выступит «вопленица» Федосова, а после неё собрание выставочных корреспондентов по вопросам: о более точной и менее затруднительной выдаче справок о ходе административных предприятий на выставке и т. д., о выдаче корреспондентам знаков, о форме этих знаков и прочее в этом духе. Корреспондентов здесь до 400!..

## **Вопленица**

Давно я не переживал ничего подобного.

В чистеньком концертном зале, полном аромата смолисто-го, свежего дерева, было сначала очень скучно. Публики было мало, и публика была всё плохая – кафе-кабацкие завсегдатаи, которым днём нечего делать и которые от скуки

лезут всюду, куда их пускают, «интернациональные дамы» из гостиниц, одетые с резким шиком, экспоненты, тоже изнывающие от безделья, кое-где среди них скромно ютятся серенькие фигуры учителей и учительниц, два-три студента, несколько журналистов с утомлёнными лицами и рассеянными взглядами... В общем – менее половины зала. На эстраде – высокий человек с чёрной бородой и в скверном сюртуке стоит, неуклюже облокотясь о что-то, вроде кафедры, и тусклым языком, ломаными, угловатыми фразами, скучно, длинно, бесцветно рассказывает о том, кто такая Ирина Андреевна Федосова. Это учитель Олонецкой гимназии Виноградов, человек, который знакомит Русь с её неграмотной, но истинной поэтессой.

– Орина, – усердно надавливает он на «о», – с четырнадцати лет начала вопить. Она хрома потому, что, будучи восьми лет, упала с лошади и сломала себе ногу. Ей девяносто восемь лет от роду. На родине её известность широка и почётна – все её знают, и каждый зажиточный человек приглашает её к себе «повопить» на похоронах, на свадьбах, а иногда и просто так, на вечеру... на именинах, примерно. С её слов записано более 30 000 стихов, а у Гомера в «Илиаде» только 27815!..

Он с торжеством специалиста осматривает публику и продолжает:

– Стих у неё – пятистопный хорей. Первый, кто её открыл для России, – преподаватель Петрозаводской семина-

рии Барсов. Он ещё в 1872 году издал сборник её стихов и причитаний, и этот сборник был удостоен Уваровской премии<sup>10</sup>. Славянская-Агренева тоже издала два тома её воплей<sup>11</sup>, и в скором времени государственный контролёр Филиппов, любитель и знаток древней русской поэзии, выпустил четыре тома импровизаций, причитаний, воплей, былин, духовных, обрядных и игровых песен Федосовой. В ней – неисчерпаемый запас старины, и она ещё многое перезабыла. Напевы её воплей – самые характерные – записаны фонографом и хранятся в императорском географическом обществе...

Кажется, он кончил. Публика не слушала его.

– Орина Андреевна! – кричит он. Где-то сбоку открывается дверь, и с эстрады публике в пояс кланяется старушка низенького роста, кривобокая, вся седая, повязанная белым ситцевым платком, в красной ситцевой кофте, в коричневой юбке, на ногах тяжёлые, грубые башмаки. Лицо – всё в морщинах, коричневое... Но глаза – удивительные! Серые, ясные, живые – они так и блещут умом, усмешкой и тем ещё, чего не встретишь в глазах дюжинных людей и чего не определишь словом.

---

<sup>10</sup> Речь идёт о книге Е. В. Барсова «Причитания Северного края», в трёх томах, М.1872–1886. – *Ред.*

<sup>11</sup> Речь идёт об изданной Ольгой Христофоровной Славянской-Агреновой книге «Описание русской крестьянской свадьбы с текстом и песнями: обрядовыми, голосильными, причитальными и завывальными, в двух частях. Записаны от Ирины Андреевны Федосовой и др.», 1887–1889 гг. – *Ред.*

– Ну вот, бабушка, как ты, петь будешь или рассказывать? – спрашивает Виноградов.

– Как хочешь! Как угодно обществу! – отвечает старуха-поэтесса и вся сияет почему-то.

– Расскажи-ка про Добрыню, а то петь больно долго...

Учитель чувствует себя совсем как дома: плюёт на эстраду, опускается в кресло, рядом со старухой, и, широко улыбаясь, смотрит на публику.

Вы послушайте-тко, люди добрые,  
Да былинку мою – правду-истину!..

– раздаётся задушевный речитатив, полный глубокого сознания важности этой правды-истины и необходимости поведать её людям. Голос у Федосовой ещё очень ясный, но у неё нет зубов, и она шепелявит. Но этот возглас так оригинален, так не похож на всё кафе-кабацкое, пошлое и утомительно однообразное в своем разнообразии – на всё то, что из года в год и изо дня в день слушает эта пёстробрючная и яркобючная публика, воспитанная на родоно-омоно-тулонских былинах, что её как-то подавляет этот задушевный голос неграмотной старухи. Шёпот прекращается. Все смотрят на маленькую старушку, а она, утопая в креслах, наклонилась вперёд к публике и, блестя глазами, седая, старчески красивая и благородная и ещё более облагороженная вдохновением, то повышает, то понижает голос и плавно жести-

кулирует сухими, коричневыми маленькими руками.

Уж ты той еси, родна матушка!

– тоскливо молит Добрыня, —

Надоело мне пить да бражничать!

Отпусти меня во чисто поле

Попытать мою силу крепкую

Да поискать себе доли-счастья!

По зале носится веяние древности. Растёт голос старухи и понижается, а на подвижном лице, в серых ясных глазах то тоска Добрыни, то мольба его матери, не желающей отпустить сына во чисто поле. И, как будто позабыв на время о «королевах бриллиантов», о всемирно известных исполнительницах классических поз, имевших всюду громадный успех, – публика раздражается громом аплодисментов в честь полумёртвого человека, воскрешающего последней своей энергией нашу умершую старую поэзию.

– Теперь «воплъ вдовы по муже»... – говорит Виноградов. Публика молчит. Откашлявшись, Федосова откидывается в глубь кресла и, полузакрыв глаза, высоко поднимает голову.

Лю-убимый ты мой му-уженька-а-а...

Сила страшной, рвущей сердце тоски – в этом вопле. Но-

та за нотой выливаются из груди поэтессы. В зале тихо... Смерть, кладбище, тоска...

– Я не могу этого слышать... не могу... – шепчет сзади меня дама в жёлтой шляпе и, когда я оборачиваюсь взглянуть на неё, прячет в раздушенный платок взволнованное бледное лицо...

Потом вопила девушка, выдаваемая замуж. Федосова вдохновляется, увлекается своей песнью, вся поглощена ею, вздрагивает, подчёркивает слова жестами, мимикой. Публика молчит, всё более поддаваясь оригинальности этих за душу берущих воплей, охваченная заунывными, полными горьких слёз мелодиями. А вопли, – вопли русской женщины, плачущей о своей тяжёлой доле, – всё рвутся из сухих уст поэтессы, рвутся и возбуждают в душе такую острую тоску, такую боль, так близка сердцу каждая нота этих мотивов, истинно русских, небогатых рисунком, не отличающихся разнообразием вариаций – да! – но полных чувства, искренности, силы – и всего того, чего нет ныне, чего не встретишь в поэзии ремесленников искусства и теоретиков его, чего не даст Фигнер и Мережковский, ни Фофанов, ни Михайлов, никто из людей, дающих звуки без содержания...

Федосова вся пропитана русским стоном, около семидесяти лет она жила им, выпевая в своих импровизациях чужое горе и выпевая горе своей жизни в старых русских песнях. Когда она запела «Соберитесь-ка, ребятушки, на зелёный луг» – по зале раздался странный звук – точно на ко-

го-то тяжесть упала и страшно подавила его. Это вздохнул человек – ярославский купец Канин, мой приятель, один из экспонентов выставки.

– Ты что?

– Хо-орошо! Так хорошо – слов нет! – ответил он, мотая головой и конфузливо отирая слёзы с глаз. Ему под пятьдесят лет, – это фабрикант, солидный господин. Узнал своё, старое, брошенное, и расчувствовался старик.

Слов нет! Русский человек часто употребляет эти два слова, и в этом факте есть предупреждение нам. Он говорит: «Храните старую русскую песню: в ней есть слова для выражения невыносимого русского горя, того горя, от которого мы гибнем в кабаках, в декадентстве, в скептицизме и других смутах отчаяния». Русская песня – русская история, и безграмотная старуха Федосова, уместив в своей памяти 30 000 стихов, понимает это гораздо лучше многих очень грамотных людей.

Она кончила петь. Публика подошла к эстраде и окружила поэтессу, аплодируя ей, горячо, громко аплодируя. Поняли! Хороший это был момент. Импровизаторша – весёлая и живая – блестит своими юными глазами и сыплет в толпу прибаутки, поговорки; толпа кричит ей вперевод:

– Хорошо, бабушка Ирина! Спасибо! Милая!..

Я спросил у неё портрет, намереваясь послать его вам для газеты, – оказалось, нет готовых...

Нас попросили разойтись – нужно было очистить зал; в 4

часа назначен концерт Главача.

*10 июня*

«Минин» – Маковского. Об этой картине ходят самые разнообразные слухи. Одни – слишком ругают, другие – чересчур хвалят. Это всегда значит, что предмет суждения высоко интересен. Картина помещена в отдельном павильоне с платой 30 копеек. Это – полотно аршин в шесть ширины и десять высоты. Первое впечатление – оно тускло, работа кажется спешной, точно художник, против своего обыкновения, на этот раз позабыл отделать детали. Но присматриваешься – и первое впечатление совершенно ступёвывается. На полотне выступают яркие, живые пятна, и, когда, наконец, снова сольёшь их в одно целое, – картина уже не та, которую увидел в первый момент, – это – оставляя вне обсуждения технику – живая вещь, крупный исторический жанр, верный, интересный и очень красивый.

В центре картины, на бочке, покрытой какой-то доской, возбуждённый и растрёпанный Минин, высокий, здоровый мужчина в полушубке, с подоткнутыми за пояс лапами. Он горячо говорит – это видно – и указывает толпе на церковь выше его, по горе. Из деревянной маленькой церкви идут священники с хоругвями. Над церковью – стая голубей, пугнутая с колокольни посадскими девицами. Всюду, по горе, около Минина и его кафедры – толпа, волнуемая, крик-

ливая, охваченная огнём сознания своей задачи. Убогий нищий, с костылём под мышкой – срывает с своей шеи крест, и лицо его взволнованно, бледно. Здоровенный мясник, засучив рукава рубахи, готов хоть сейчас бить поляков, мускулы голых рук напряжены, лицо – зверски свирепо, изо рта, должно быть, летят «крылатые слова». Парень с глупой, круглой рожой суёт Козьме кожаную кису. Вершник пробивается сквозь толпу, окутанную облаком пыли и льющуюся широким потоком из ворот башни старого, выдавшего мордву и татар, кремля, крепко осевшего там, на горе, высоко над толпой. Толпа льёт с горы лавиной – она чувствуется и за серой, угрюмой стеной кремля. Седобородый мужик истово крестится – он только что положил к ногам Козьмы икону в ризе, татарин в малахае смотрит из-за чьего-то плеча испуганными, но любопытными глазами на оратора-мясника; белоголовая девчоночка, держась сзади за шубейку матери, несущей к бочке свои платья, – улыбается блеску кубков и братин, лежащих на земле. Отовсюду тащат яркие платья, ларцы, посуду из серебра; штоф, парча, шёлк валяются кучами под ногами людей. Красавица боярыня с жгучими глазами и матово-бледным лицом вынимает серьги из ушей, неподалеку от неё какой-то странник – плут и пьяница, судя по его лисьей роже, – подняв к небу руку, важно проповедует что-то. Позади Минина молодой стрелец, взмахнув в воздухе тяжёлой секирой, орёт во всё горло, и глаза его налиты кровью... Всюду возбуждение страшное, и выражено оно – на

мой взгляд – ярко. Толпа глубоко народна. Видишь, что это именно нижегородский народ; весь Нижний встал на ноги и рычит и мечется с силой ужасной, готовый всё ломить сплеча. Испуганные глаза татарина очень понятны. В этой кишащей массе нижегородского люда, собирающегося совершить исторический подвиг, на первом плане картины, у самой рамы, сидит около кучи разного скарба старуха – видно, ключница – и старается открыть берестяной бурак, не обращая никакого внимания на всё, что творится вокруг неё. А неподалеку от неё стол, заваленный деньгами, и у стола две девочки. Одна в платье и в сарафане, постарше, очевидно, уже насладились лицезрением всех этих блестящих и ярких вещей и смотрит в лицо своей сестрёнке, которую держит за руку.

Сестрёнка – ей не больше четырёх лет, – по-видимому, только что встала и явилась делать историю в одной рубашонке. Вся беленькая, заспанная, пухлая – она таращит свои голубенькие глазки на эти цветные материи.

Хорошая картина! Быть может, она несколько тускла – в ней мало солнца, мало блеска... Не горит всё это золото, серебро, ткани, главы церкви. Небо покрыто белыми, лёгкими клочьями облаков, между ними всюду синева. Но солнца мало... Зато жизни много.

[6]

## Развлечения

*22 июня*

После дня, проведённого среди разнообразной архитектуры выставочных зданий, в пёстром хаосе красок, в разношёрстной толпе людей, – всегда создающей вокруг себя такой странный шум – строптиво-глухой, недовольный, жадный, наслушавшись громкой музыки, оглушённый звоном колоколов, – чувствуешь, что мозг твой засорен, душа подавлена и нервы как-то тупы. Хочется иных впечатлений – таких, которые, лаская душу своей красотой, оживляли бы её, будя ум своим содержанием, изоцряли бы его. Хочется уйти из царства индустрии, из сферы всевозможных диковин и чудес, – уйти куда-нибудь подальше, куда не долетал бы шум этого искусственно созданного мира и где было бы более просто, не так тесно и не так много резких противоречий, оскорбляющих глаза и душу. Хочется сразу вобрать в себя, всосать всеми нервами эту яркую жизнь в свой мозг, переработать её в себе, всю сразу, выжать из неё квинтэссенцию её внутреннего смысла и, выкинув её из головы на бумагу, в виде тесной сотни сжатых строк, – сделать это... и больше ни звука о выставке, об этой универсальной лавочке, в которой собрано так много образцов разных, несомненно, хо-

роших товаров, ибо все они сделаны «напоказ». О, конечно, выставка имеет большую цену для торговцев и фабрикантов, но она утомляет человека... и... и слишком много горьких дум она возбуждает...

Выставка поучительна гораздо более как правдивый показатель несовершенств человеческой жизни, чем как картина успехов промышленной техники страны. А впрочем – речи о таких вещах возбуждают скуку у читателя; читатель в газете ищет прежде всего развлечения: уступая его вкусу на сей раз, поговорю о развлечениях, ибо и они могут иллюстрировать смысл современной жизни так называемой «культурной толпы» ничуть не хуже всего другого, чем живёт эта толпа. Итак, будем говорить о развлечениях культурной толпы.

Известен общий характер ярмарочных развлечений, это – популяризация разврата и имитация искусства, если можно так выразиться. Разврат здесь понимается как пикантное удовольствие, и чем острее умеют сделать его «пикан», тем большим успехом пользуются и тем больший «фурор» делают виртуозы его популяризации. Искусство – то же развлечение, и чем оно эксцентричнее, чем более оригинальные формы умеет придать популяризатор музыке, живописи, декламации, пению – тем солиднее его успех, тем глубже симпатии ярмарочной публики к такому популяризатору. Нужно отдать справедливость деятелям кафе-шантаных эстрад, у них много достоинств: они неистощимы в остроумии, с которым развращают свою публику, они крайне чутки к её за-

просам, они – веселы, а это самое главное, чего требует от них завсегдатай ярмарочного шикарного кабака.

Я далёк от обвинения всех этих «этуалей» и «неподражаемых», «вне конкуренции» стоящих дам, – я не обвиняю их ни в чём. Они суть продукты спроса, выдвинутые временем на рынок разврата. Их создала публика, эта «культурная толпа», наполняющая с восьми часов вечера до четырёх часов утра ярмарочные кабаки. Ей нужны были образчики всех видов порока, и нужно было ей дать их в самых изящных и привлекательных формах. Вот ей и дают их. А если завтра на ярмарке появится Пётр Амьенский и провозгласит крестовый поход против разврата – эта же самая «культурная толпа», сегодня аплодирующая «этуальям»<sup>12</sup>, завтра разорвёт их на части. Ведь она, в сущности, культурна только внешне, её культура – это культура портных и сапожников, культура галстука, внутренне же она – стадо, как и всякая другая толпа.

Не бог сотворил всех этих людей в уродливо широких брюках и неприлично коротких тужурках – их создали портные. Этим культурных людей ни в чём нельзя винить – это люди «без руля и без ветрил», люди, у которых вместо желаний – похоти. Их следует сожалеть как существа, измученные развратом, пресыщенные и жалкие, для которых бытие более тяжело и скучно, чем для всех других людей.

---

<sup>12</sup> Etoile *фр.* звезда – в западном театре лёгкого, развлекательного жанра: модная артистка – *Ред*.

Но – будем говорить о развлечениях просто, не морализируя, ибо ведь всё равно мораль бесполезна там, где её некому и нечем воспринять...

У Ломача ожидают выхода на эстраду одной из «этуалей». Ожидающие – возбуждены и нервозно постукивают тростями в пол, судорожно двигаясь на стульях. Среди них преобладает «выставочный человек» с розеткой на груди, в инженерной форме, много купечества – культурного, бывавшего за границей, владеющего двумя-тремя языками, одетого по последней моде, – много «братьев-писателей», окруживших маститую фигуру старика с седыми волосами и таким благородным лицом. Это – человек с крупным именем и хорошим прошлым...

Ему как будто бы не место среди этой камарильи, собравшейся прожить несколько сот дёшево доставшихся ей денег.

Вот на эстраду выпорхнула Паула Менотти – гром аплодисментов грянул ей навстречу. Она низко склоняется над рампой, показывая публике обнажённые плечи и грудь, и публика жадными, загоревшимися глазами торопится рассмотреть через стёкла биноклей и лорнетов её роскошное, соблазнительно красивое тело, которое она показывает им с такой циничной грацией. Раздаются слова гривуазной песенки <sup>13</sup>, исполняемой с французским шиком, полной двусмыс-

---

<sup>13</sup> Grivois *фр.* – вольный, игривый, легкомысленный, не вполне пристойный – *Ред.*

ленностей, поясняемых жестами и телодвижениями. Публика замирает в восторге и упоении пред этим искусством «Казино», «Фоли-Бержер» и других бульварных сцен Парижа. Наркотический запах духов несётся от этой женщины. Она уходит в буре рукоплесканий... на её месте стоит уже другая, – иные формы, иная песня, – но всё тот же циничный смысл. Они сменяются, как в калейдоскопе, эти красивые женщины, эксцентрично одетые, или, скорее, раздетые. Они распевают такие вещи, о которых не принято говорить нигде, кроме холостых компаний. Какой-то юноша в мундире студента-горняка, с бледным лицом, нервно вздрагивающими ноздрями, смотрит на сцену и воспитывается. Фабрикант, с толстыми губами, сладко чмокает ими и щурит глаза и поводит рыжими усами, как влюблённый кот. Сотрудник столичной газеты, отвалившись на спинку стула и положив ногу на ногу, лорнирует «этуаль» с видом знатока. Старый писатель в такт песне щёлкает себя пальцами по колену и мечтательно улыбается, ни на миг не теряя своей благородной осанки.

Гремит и сладострастно поёт музыка – то взрывы страсти, то муки неги, то тоску пресыщения поют струны скрипок. Вакханалия всё разгорается, и публика становится всё менее похожа на людей.

Душно, шумно, странный аромат носится в зале. А со сцены одна за другой речитативом несутся бойкие реплики полуодетых женщин.

Он был слишком толст,  
А она тонка...

– распевает с гадкими ужимками «известная русская шансонетная певица, всюду пользующаяся громадным успехом».

Публика в восторге от её рассказа, обильно сдобренного разными пикантными подробностями и передаваемого «порусски», без французских двусмысленностей, а просто, ясно... Атмосфера всё более сгущается, всё более полна ароматами духов и женского тела. Крики «браво! бис!» оглушают вас...

– Восторг ты мой! – ревёт, как медведь, миллионер-золотопромышленник.

Антракт. Публика, толкая друг друга, бежит в уборные артисток. Туда же мчатся лакеи с крюшонами, с фруктами, винами на подносах. Студент-горняк, прижавшись к стене, дрожащей рукой отирает потный лоб, и глаза его блуждают так странно, что он кажется человеком, которого в этот момент можно нанять за сто рублей для совершения убийства. По зале всюду ходят певички, вызывая улыбаясь публику. Кругом всё так роскошно, – культура домов терпимости из года в год повышается, это факт.

Кое-где за столики садятся женщины, к ним подлетают эти кабацкие люди, и через пять минут на столе является вино, раздаются циничные речи, задорный, дразнящий смех...

Однако надо уйти...

Два мальчика сидят перед костром, на берегу Оки, – один из них весь беленький, точно седой, с ясными, голубыми глазами, другой – с острым, худым лицом и с бойкими, плутоватыми глазами. Вокруг них – тьма, и тени вокруг костра дрожат, как будто бы танцуют безмолвный танец теней. Повсюду, на тёмном бархате реки, громадные суда подняли кверху мачты с фонарями, над ними небо в серых облаках, вдали недвижимой глыбой виден горный берег, и всюду – по реке, по берегу – сверкают огоньки судов и лодок. Ночь так темна, сыра, грозит дождём...

– Рыбачите? – спрашиваю я ребятешек.

– Рыбачим, да не ловится... Ершей вон наловили штук десяток, – говорит мне худой мальчик, кашляет и кутается в рваное пальтишко.

– Чай, скучно вам ловить-то?

– Не, ничего, – кивает головой мальчонка.

– Мы любим, – говорит его седой товарищ, улыбаясь мне своими голубыми глазами.

Я закуриваю папироску от огня их костра и оглядываюсь. Вдали, сзади нас, на хмуром небе ночи сияет зарево опалового цвета, оно такое холодное, мёртвое. Там – выставка, это её электрические огни и огни гостиниц отражены серыми облаками.

– Мы тут такую штуку придумали, – заливаясь смехом, говорит мне мальчик с острым лицом. – Возьмём ерша, при-

ткнём его удочкой на палку и в огонь палку-то! Уж он, ёрш, так-то ли учнёт хвостом вилять! Смехота глядеть! Жарко ему – живой ведь он, а огонь-то жжётся тоже!

Оба они весело смеются, глядя друг на друга.

«Тоже развлечение», – с болью глядя на них, думаю я.

И спрашиваю:

– Чай, ему больно? Как вы думаете?

– Ведь он, ёрш-то, – рыба! – уверенно говорит седой мальчик.

– В ём крови нету, – поясняет его товарищ.

– Ежели бы это крыса была, тогда бы ей было больно! – доказывает мне седой.

– А вы пробовали жечь крыс?

– Колько разов уж!

– Аж надоело нам...

– Однова даже котёнка... – И они вперебой весело смеются.

«Развлечение!» – думаю я и ухожу вдоль по берегу реки.

Все жаждут развлечений...

Светает уже. С реки, откуда-то издалека, несётся унылая, стонущая, рыдающая хоровая песня:

Ка-ачай, наши, качай,

Знай, по-окачивай, качай!..

Это выкачивают нефть из баржи в береговой кессон...



## Синематограф Люмьера

Боюсь, что я очень беспорядочный корреспондент, – не докончив описания фабрично-заводского отдела, пишу о синематографе. Но меня, быть может, извиняет желание передать вам впечатление свежим.

Синематограф – это движущаяся фотография. На большой экран, помещённый в тёмной комнате, отбрасывается сноп электрического света, и вот на полотне экрана появляется большая – аршина два с половиной длины и полтора в высоту – фотография. Это улица Парижа. Вы видите экипажи, детей, пешеходов, застывших в живых позах, деревья, покрытые листвой. Всё это неподвижно: общий тон – серый тон гравюры, все фигуры и предметы вам кажутся в одну десятую натуральной величины.

И вдруг что-то где-то звучно щёлкает, картина вздрагивает, вы не верите глазам.

Экипажи идут с экрана прямо на вас, пешеходы идут, дети играют с собачкой, дрожат листья на деревьях, едут велосипедисты – и всё это, являясь откуда-то из перспективы картины, быстро двигается, приближается к краям картины, исчезает за ними, появляется из-за них, идёт вглубь, уменьшается, исчезает за углами зданий, за линией экипажей, друг

за другом... Пред вами кипит странная жизнь – настоящая, живая, лихорадочная жизнь главного нервного узла Франции, – жизнь, которая мчится между двух рядов многоэтажных зданий, как Терек в Дарьяле, и она вся такая маленькая, серая, однообразная, невыразимо странная.

И вдруг – она исчезает. Пред глазами просто кусок белого полотна в широкой чёрной раме, и кажется, что на нём не было ничего. Кто-то вызвал в вашем воображении то, что якобы видели глаза, – и только. Становится как-то неопределённо жутко.

Но вот снова картина: садовник поливает цветы. Струя воды, вырываясь из рукава, падает на ветви деревьев, на клумбы, траву, на чашечки цветов, и листья колеблются под брызгами.

Мальчишка, оборванный, с лицом хитро улыбающимся, является в саду и становится на рукав сзади садовника. Струя воды становится всё тоньше и слабее. Садовник недоумевает, мальчишка еле сдерживает смех – видно, как у него надулись щёки, и вот в момент, когда садовник подносит брандспойт к своему носу, желая посмотреть, не засорился ли он, мальчишка отнимает ногу с рукава, струя воды бьёт в лицо садовника – вам кажется, что и на вас попадут брызги, вы невольно отодвигаетесь... А на экране мокрый садовник бежит за озорником мальчишкой; они убегают вдаль, становятся меньше, наконец, у самого края картины, готовые упасть из неё на пол, они борются, – мальчишка пойман,

садовник рвёт его за ухо и шлёпает ниже спины... Они исчезают. Вы поражены этой живой, полной движения сценой, совершающейся в полном безмолвии.

А на экране – новая картина: трое солидных людей играют в вист. Вступает бритый господин с физиономией важного чиновника, смеющийся, должно быть, густым басовым смехом; против него нервный и сухой партнёр тревожно хватается со стола карты, и на сером лице его – жадность. Третий наливает в стаканы пиво, которое принёс лакей, и, поставив на стол, стал за спиной нервного игрока, с напряжённым любопытством глядя в его карты. Игроки мечут карты и... раздражаются безмолвным хохотом теней. Смеются все, смеётся и лакей, взявшись за бока и становясь неприличным у стола этих солидных буржуа. И этот беззвучный смех, смех одних серых мускулов на серых, трепещущих от возбуждения лицах, – так фантастичен. От него веет на вас каким-то холодом, чем-то слишком не похожим на живую жизнь.

Смеясь, как тени, они исчезают, как тени...

На вас идёт издали курьерский поезд – берегитесь! Он мчится, точно им выстрелили из громадной пушки, он мчится прямо на вас, грозя раздавить; начальник станции торопливо бежит рядом с ним. Безмолвный, бесшумный локомотив у самого края картины... Публика нервно двигает стульями – эта махина железа и стали в следующую секунду ринется во тьму комнаты и всё раздавит... Но, появившись из серой стены, локомотив исчезает за рампой экрана,

и цепь вагонов останавливается. Обычная картина сутолоки при прибытии поезда на станцию. Серые люди безмолвно кричат, молча смеются, бесшумно ходят, беззвучно целуются.

Ваши нервы натягиваются, воображение переносит вас в какую-то неестественно однотонную жизнь, жизнь без красок и без звуков, но полную движения, – жизнь привидений или людей, проклятых проклятием вечного молчания, – людей, у которых отняли все краски жизни, все её звуки, а это почти всё её лучшее...

Страшно видеть это серое движение серых теней, безмолвных и бесшумных. Уж не намёк ли это на жизнь будущего? Что бы это ни было – это расстраивает нервы. Этому изобретению, ввиду его поражающей оригинальности, можно безошибочно предречь широкое распространение. Настолько ли велика его продуктивность, чтобы сравняться с тратой нервной силы; возможно ли его полезное применение в такой мере, чтоб оно окупило то нервное напряжение, которое расходуется на это зрелище? Это важный вопрос, это тем более важный вопрос, что наши нервы всё более и более треплются и слабеют, всё более развинчиваются, всё менее сильно реагируют на простые «впечатления бытия» и всё острее жаждут новых, острых, необыденных, жгучих, странных впечатлений. Синематограф даёт их: и нервы будут изощряться с одной стороны и тупеть с другой; в них будет всё более развиваться жажда таких странных, фанта-

стичных впечатлений, какие даёт он, и всё менее будут они желать и уметь схватывать обыденные, простые впечатления жизни. Нас может далеко, очень далеко завести эта жажда странностей и новизны, и «Кабачок смерти» из Парижа конца девятнадцатого века может переехать в Москву в начале двадцатого.

Я позабыл ещё сказать, что синематограф показывают у Омона – у нашего знаменитого Шарля Омона, бывшего конюха генерала Буадеффра, как говорят.

Пока милейший Шарль привёз только сто двадцать французенок – «звёздочек» и около десятка «звёзд», – и его синематограф показывает пока ещё очень приличные картины, как видите. Но это, конечно, ненадолго, и следует ожидать, что синематограф будет показывать «пикантные» сцены из жизни парижского полусвета. «Пикантное» здесь понимают как развратное, и никак не иначе.

Помимо перечисленных мною картин, есть ещё две.

Лион. С фабрики расходятся работницы. Толпа живых, подвижных, весело хохочущих женщин выступает из широких ворот, разбегается по экрану и исчезает. Все они такие милые, с такими скромными, облагороженными трудом живыми личиками. А на них из тьмы комнаты смотрят их землячки, интенсивно весёлые, неестественно шумные, экстравагантно одетые, немножко подкрашенные и не способные понять своих лионских землячек.

Другая картина – «Семейный завтрак». Скромная пара

супругов с толстым первенцем «бебе» сидит за столом.

«Она» варит кофе на спиртовой лампе и с любовной улыбкой смотрит, как её молодой красавец муж кормит с ложечки сына, – кормит и смеётся смехом счастливца. За окном колышутся листья деревьев, – бесшумно колышутся; «бебе» улыбается отцу всей своей толстой мордочкой, на всём лежит такой хороший, задушевно простой тон.

И на эту картину смотрят женщины, лишённые счастья иметь мужа и детей, весёлые женщины «от Омона», возбуждающие удивление и зависть у порядочных дам своим умением одеваться и презрение, гадливое чувство своей профессией. Они смотрят и смеются... но весьма возможно, что сердца их щемит тоска. И, быть может, эта серая картина счастья, безмолвная картина жизни теней является для них тенью прошлого, тенью прошлых дум и грёз о возможности такой же жизни, как эта, но жизни с ясным, звучным смехом, жизни с красками. И, может быть, многие из них, глядя на эту картину, хотели бы плакать, но не могут и должны смеяться, ибо такая уж у них профессия печально-смешная...

Эти две картины являются у Омона чем-то вроде жестокой, едкой иронии над женщинами его зала, и, несомненно, их уберут. Их – я уверен – скоро, очень скоро заменят картинами в жанре, более подходящем к «концерту-паризьен» и к запросам ярмарки, и синематограф, научное значение которого для меня пока непонятно, послужит вкусам ярмарки и разврату ярмарочного люда.

Он будет показывать иллюстрации к сочинениям де Сада и к похождениям кавалера Фоблаза <sup>14</sup>; он может дать ярмарке картины бесчисленных падений мадемуазель Нана, воспитанницы парижской буржуазии, любимого детища Эмиля Золя. Он, раньше чем послужить науке и помочь совершенствованию людей, послужит нижегородской ярмарке и поможет популяризации разврата. Люмьер заимствовал идею движущейся фотографии у Эдисона, – заимствовал, развил и выполнил её... и, наверное, не предвидел, где и пред кем будет демонстрироваться его изобретение!

Удивляюсь, как это ярмарка недосмотрела и почему это до сей поры Омон-Тулон-Ломач и К<sup>о</sup> не утилизируют, в видах увеселения и развлечения, рентгеновских лучей? Это недосмотр, и очень крупный.

А впрочем? Быть может, завтра появятся у Омона на сцене и лучи Рентгена, применённые как-нибудь к «пляске живота». Нет ничего на земле настолько великого и прекрасного, чего бы человек не мог опошлить и выпачкать, и даже на облаках, на которых ранее жили идеалы и грёзы, ныне хотят печатать объявления, кажется, об усовершенствованных клозетах.

Ещё не печатали об этом?

Всё равно – скоро будут.

---

<sup>14</sup> Имеется в виду роман французского писателя Луве де-Кувре «Приключения кавалера Фоблаза». – *Ред.*

*11 июля*

Вчера вечером была устроена примерная иллюминация кремля. С Волги – это нечто сказочное. На тёмной массе гор, поросших пышной зеленью, вдруг вспыхнули тысячи разноцветных огней – точно на город упали звёзды с неба. Решено ещё увеличить количество лампочек. Всюду в городе устраиваются транспаранты, щиты, арки и прочее.

Декораторы завалены работой, пиротехники тоже; хоры певчих репетируют какую-то кантату. Город чистится, моется, красится, работают и днём и ночью.

Оригинальна будет триумфальная арка при въезде на мост с ярмарки – корабль, оснащённый и как бы летящий в воздухе.

– Мы, – говорил недавно один купеческий оратор на частном обеде, – мы в настоящие дни представляем главенствующее сословие в стране, самое богатое и умное. Капитал, главная движущая жизнью сила, в наших руках, и, значит, вся жизнь в нашем распоряжении...

Но «самое умное» сословие ещё не выработало и тени словесной солидарности, и, не имея никакого представления о единстве своих интересов, несомненно, пойдут все на всех и каждый против каждого. Я так и представляю себе этот

съезд в виде ребячьей игры в «малу кучу»<sup>15</sup>. Разница только та, что ребятишки-то все уже с бородами. Вы знаете эту игру? Толпа мальчишек бросается друг на друга, сбивает друг друга с ног, падает на упавших, наваливается на них, толкает в кучу тех, что ещё стоят на ногах, и вот на земле образуется живая кишачая масса тел... В этой занятой игре очень скверно тем, которые попадают вниз.

Как новость сообщаю: вчера, при экспертизе экспонатов группы химических производств, в фабрично-заводском отделе совершилось маленькое, так сказать, спорадическое «торжество русской промышленности».

Осмотрев витрину Ушакова из Елабуги, Вятской губернии, производящего технические кислоты, соли и гончарную химическую посуду, эксперты разразились громом рукоплесканий по адресу экспонента за его успехи в деле химических производств.

Ушаков уже имеет три герба – решено хлопотать о высшей награде и сделать в этом смысле доклад государю.

Фабрикат Ушакова стоят вне конкуренции с другими однородными производствами; их у нас всего тринадцать, и все они разбросаны друг от друга на далёкие расстояния: три в Московской губернии, два в Петербурге, два в Костромской губернии, в Ярославле, в Новгороде, в Нахичевани и в Вятке, – из них только семь работают то же, что и Ушаков. На ход экспертизы и на её оценку завтраки перед её операци-

---

<sup>15</sup> Речь идёт о торгово-промышленном съезде в Н. Новгороде в 1896 году – *Ред.*

ями и ужины после – не влияют. Это мне говорил один из экспертов, хорошо знакомый с Ушаковым и с производством технических кислот. Я ему верю.

Ещё новость: Омон, антрепренёр Лили Дарто, покушавшейся на самоубийство и ныне выздоравливающей, решил выдать ей всё обусловленное контрактом содержание, а её товарищи по профессии собрали ей очень крупную сумму денег. Мне очень приятно отметить «человеческое» в «кафе-кабацком», и я буду надеяться, что вам, читатель, тоже приятно знать, что деятелям омоновской сцены, популяризаторам разнузданных развлечений, ничто человеческое не чуждо.

Это хорошо. Но, знаете, иногда видеть добродетель в пороке – ужасно неловко, я говорю вообще, не относя ругательских эпитетов к омоновской трупке и имея в виду публику – вообще публику. Порой среди неё попадаются такие субъекты, для которых нет казни, достаточно вознаграждающей их за все их деяния. И вдруг в таком индивидууме, которого и раздавить-то гадко, и вдруг, говорю, в таком субъекте на момент блеснёт человек. Этот проблеск есть в одно и то же время и обстоятельство, смягчающее вину индивидуума, и нечто такое, что, заставляя вас признать в нём человека, лишает вас возможности предохранить жизнь от влияния на неё его яда, ставит вас с ним рядом. Христианство учит нас видеть в каждом ближнем брата, но метрическими справками не докажешь братства всех со всеми, и самолюбие

порядочного человека всегда будет против братства с непорядочным. Я хотел бы видеть порядочных людей порядочнее, а подлецов ещё подлее, – будь это так – жить было бы удобнее. А по нынешним временам в порядочных людях то и дело видишь нечто, не идущее к их амплуа, а подлецы то и дело совершают добродетельные поступки. «Минул век богатырей!»<sup>16</sup> Да, минул! Нет ни крупных злодеев, ни крупных честных людей.

– А какое это имеет отношение к Всероссийской выставке?

Никакого, читатель, никакого! Но я сызмальства склонен к «мудрости эллинской, философией зовомой, сиречь любомудрием», и прошу прощения за сию склонность мою. У всякого человека есть недостатки более или менее скверные, – об этом я уже сказал на десять строк выше и ещё раз повторяю – я против этого!

Или добродетель или порок – прочь лигатуру! Это крайность? Конечно, потому что это хорошая идея, а все хорошие идеи именно потому в большинстве случаев плохи и не применимы к жизни, что грешат крайностью.

---

<sup>16</sup> Изменённая вторая строфа стихотворения Дениса Давыдова «Современная песня». У Давыдова: «То был век богатырей, Но смешались шашки...» – *Ред.*

## Отдел художественный

Сказать что-либо хорошее, положительное о русском искусстве на Всероссийской выставке – задача такая тяжёлая и трудная, что я с наслаждением сложил бы её на кого-нибудь из моих добрых знакомых, вполне заслуживших маленькую неприятность с моей стороны. Но я должен говорить о том впечатлении, которое производит на публику русское искусство, и – да поможет мне бог, а художники пусть не обижаются на меня, – ведь я менее всего виноват в том, что их искусство то слишком бледно, то слишком ярко и никогда не охватывает зрителя, не заставляет его чувствовать и думать.

Здание художественного отдела с внешней стороны очень красиво: колонны ионического стиля, ниши, портики, стеклянный купол в центре здания – всё это создаёт солидный ансамбль, и если бы убрать из ниш некоторые из гипсовых статуй, украшающих их, ансамбль был бы ещё полнее. Так, например, в одной из ниш помещён атлет, рвущий цепь о колено и весьма нелепо поставленный на одну ногу. В другой нише курносый гений простёр крылья и руки над фигурой, очень неприлично свалившейся к его ногам и обнимающей их так, что средняя часть её туловища смотрит в небо совсем как мортира береговой обороны. Входя в отдел,

вы прежде всего попадаете в круг, где расставлены скульптуры: пред вами гипсовая «Русалка» господина Бондаревского. Это не очень толстая, но весьма некрасивая женщина, раскинувшаяся на прибрежном песке, и... больше ничего.

Дальше ещё нагая женщина. Она взгромозилась на сфинкса и, простирая вперёд, через его голову, свои руки, загадочно улыбается. Её сотворил господин Пащенко, и сотворил, должно быть, специально для возбуждения недоумения в публике. Она называется «Сфинкс». Но что такое она, и зачем она? Можно бы не ставить таких вопросов, если б «Сфинкс» был красив.

Есть Антокольский. Стоит его «Иисус Христос», первоначальный эскиз, созданный ещё в 1874 году, «Христианская мученица», «Нестор». Далеко уже назад то время, когда Некрасов советовал Антокольскому изваять «Гарантию и Субсидию»<sup>17</sup>, но Антокольский и до сей поры не сделал этого и пропустил самый удобный момент, ибо на земле нет места для статуи Субсидии более удобного, чем нижегородская выставка. Здесь её следовало бы поставить рядом сobeliskом и окружить алтарями; благовония на них курились бы и день и ночь... Об этом здесь есть кому позаботиться.

Но «на нет и суда нет»; будем говорить о том, что есть. Есть статуя Беклемишева «Как хороши, как свежи были розы». Это элегическая и изящная вещица. Есть бронзовый «Прометей, несущий огонь», его принимают за факельщика,

---

<sup>17</sup> См. поэму Н. А. Некрасова «Современники», часть вторая. – *Ред.*

который удирает со всех ног от воскресшего покойника. Затем очень много публики собирают вокруг себя бюсты и статуэтки Гинцбурга, но интерес, возбуждаемый ими, следует частью перенести на счёт репутации тех людей, которых в бронзе и мраморе представил художник.

Двенадцать знаменитостей, изображённых господином Гинцбургом – Толстой, Спасович, Менделеев, Рубинштейн, Шишкин, Стасов и другие – слишком хорошо известны для того, чтоб публика проходила мимо них.

Затем, к чести Одессы, много внимания привлекают работы её художника Эдуардса, тонко выполненные и хорошо задуманные. Другой художник из Таврии, Яцуньский, дал две вещи-гипс: просто «Клоун» и гипс окрашенный – «Цыганка». Искусство господина Яцуньского не из тех, которые вызывают лестные о них отзывы. Господин Пащенко, кроме «Сфинкса», выставил ещё урну для пепла «Горе» и вазу для цветов. Урна – маленькая, красивая и очень печальная фигурка женщины, склонившейся к земле. Но хотя всё это и так, однако где же русская скульптура? Вся тут?

Ищем её дальше. Всех скульптурных произведений пятьдесят пять, выставленных шестнадцатью художниками. У Гинцбурга пятнадцать работ, у Эдуардса тринадцать, остальные, за исключением Антокольского, Беклемишева и Дилон, у которой статуэтка и две головки тоже очень хороши, – остальные молчат. И мы будем молчать о них, если они ничего не говорят ни уму, ни сердцу. Итак, русская скульптура

на Всероссийской выставке довольно-таки неважна, выражаясь мягко. Неважна, ибо и то, что хорошо, то есть приятно для глаза, не представляет собою ничего такого, что поражало бы зрителя, будило бы в нём мысль и облагораживало его чувство. Хорошо, да, – но и только.

Перейдём к живописи. Около тысячи картин собраны в отделе, и среди них есть картины художников с такими именами, как Айвазовский, Маковский, Бруни, Киселев, Шишкин, Левитан, Ендогуров, Бодаревский, Поленов, Бонч-Томашевский, Ярошенко и другие. Подавляющее большинство – люди с малой силой в душе и в руке, но с громадными претензиями на оригинальность и со склонностью к новшествам, вроде импрессионизма. Выставлено очень много видов Кавказа, и если судить о Кавказе по ним, то необходимо придёшь к заключению, что горы Кавказа сплошь созданы природой из разных овощей и представляют собой нечто вроде винегрета или пудинга купеческой кухарки, которая в него насовала и мармелада, и чернослива, и винной ягоды, всего, что нашлось у неё под рукой. Зачем эти горы из разноцветных камней, – горы вроде екатеринбургских гротов-пресс-папье и под соусом серого тумана? Зачем и кому нужны эти большие полотна, изображающие такие неестественные горы и такой шерстяной туман?

Решительно не понимаю, почему это современное молодое искусство ставит своей задачей искажение природы, изображая её такими щедрыми на разнообразие красок кистями, с таким протокольным, геометрически правильным водружением камня на камень и с такой небрежностью к правде природы. Кажется, что горы писались по воспоминанию о них и что это воспоминание было затуманено чем-то очень далёким от Кавказа, совершенно не похожим на него.

Не лучше обстоит дело с водой. Айвазовский, конечно, водяной гений, но всё-таки простому смертному, бывавшему на море, я уверен, никогда не приводилось встречать те волны, которые он изображает. Солнце – великий чародей, но и оно не в состоянии превратить морскую воду в клюквенный кисель, как это часто делает Айвазовский.

Крыжицкий изображает Волгу у её слияния с Окой, Днепр под Киевом, ещё и ещё Волгу. Бог с ним, конечно, но тот, кто описывал ему Волгу и Днепр, очевидно, видел их давно уже и всего только один раз. Левитан даёт воду – «Лесистый берег», «На Волге ветрено», «Лилии-ненюфары». Первые две картины достаточно известны. Лилии очень хороши, но вода, из которой они смотрят, какая-то мазутообразная и совершенно не имеет перспективы. У остальных художников вода то напоминает о стекле, то о зельтерской,

только что налитой из бутылки в стакан.

В одной раме она без движения и даже не способна к нему, в другой она что-то очень уж подозрительно пенится.

Лес даёт Шишкин – лесовик прославленный. И вообще говорить об именах, более или менее известных, – бесполезно, читатель знает их, они уж старички, и картины их довольно стары, знакомы по отзывам печати или по выставкам, на которых они появились впервые. Да я и не претендую на роль художественного критика, я имею намерение передать моё, личное впечатление и тот «глас народа», который часто касался моих ушей во время посещения мною отдела.

– Это хуже куда Третьяковской галереи! – говорили одни.

– Бедно. Слабо. Плохо, – более определённо выражались другие, и я согласен с ними.

Бедно и слабо русское искусство на Всероссийской выставке, если судить о нём по образцам его, выставленным в художественном отделе. Исключая Васнецова, недавно доставленной в отдел картины Семирадского-Боткина и перечисленных выше, большинство поразительно бесцветно или слишком цветисто. Сюжеты не оригинальны, исполнение не сильно, не живо, не изящно...

Я не говорю о Куриар и ещё двух-трёх художниках-артистах, но о тех десятках, которые пишут картины, кажется, только потому, что больше ничего не умеют делать.

Бросается в глаза отсутствие жанра. Кажется, господа русские художники видят горы, реки, леса и степи своей страны,

но не видят и не знают её народа. Быт этого народа, изображённый сильной кистью и смелой рукой, не находит, очевидно, себе места на полотнах современных художников. Жанровые картины почти отсутствуют в массе пейзажей, и, право, маленькая Финляндия может служить уроком России, в лице её художников. Финляндцы выставили около восьмидесяти картин, из них до двух третей – жанр, и хороший жанр. Вот, например, картина Альстедта «Горе», – вы сразу видите, что художник глубоко чувствовал то, что писал. Картина изображает кладбище: между могил – группа людей, среди неё гробик, в нём ребёнок. Лица девочек, поющих надгробные молитвы, прелестны, – так много горя в них и во всех, кто стоит около гробика... Не оригинальная эта тема, но вы сразу видите, что она написана вдохновенно и горячо и что это маленькое горе близко сердцу художника. Картина Эрнефельта «Пожога» изображает людей, роющихся на пожарище в золе и в пепле, среди тлеющих углей, – и сколько в нём, в этом полотне, драмы, горя, скорби! На первом плане стоит девочка с испуганным, выпачканным в саже личиком, и в каждой жилке её лица, в руках, во всей фигуре – сколько жизни, сколько чувства! Прекрасна картина Галлонена «У костра». В лесу, на снегу, среди печальных, покрытых инеем деревьев, горит – живым огнём – костёр, и трое финнов сидят вокруг его. На их лицах – как и на всём вокруг них – дрожат багровые отблески огня. Сначала эта картина кажется грубой, потом она оживает и охватывает вас. Вы чувству-

ете, что ещё ярче, чем огонь костра, горит сердце художника любовью к своей суровой стране и к людям её – хмурым, печальным, утомлённым борьбою с ней, бедным людям. И с каждой жанровой картины финляндца бьёт в глаза эта любовь к своей стране и к её людям, а именно этого-то и недостаёт нашим художникам.